

*Н. К. Сяндюков\**

## **«ВЛАС» И «У ТИХОНА»: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ\*\***

Статья посвящена рассмотрению связей этюда «Влас», опубликованного в «Дневнике писателя» за 1873 г., и главы «У Тихона», не вошедшей в окончательную редакцию «Бесов». Как показано в работе, на уровне фабулы «Влас» дублирует события «У Тихона». Сами персонажи Власа и Ставрогина во многом представляются как носители идеи «русского народа в его целом». На этом основании сопоставляются характеры персонажей, анализируются их действия и мотивы. Показано, что в образе Власа сливаются воедино две фигуры — жертвы и искусителя; что Влас как тип достигает спасения благодаря близости почве и традиции. Проанализированы характеристики Князя, героя ненаписанного романа «Зависть», как прообраза Ставрогина. На основе идей Г. Померанца и Е. Ляпушкиной автор приходит к выводу, что Ставрогин является заложником собственной «двоящейся» воли. Его боязнь Другого, незнакомая Власу, обрекает Ставрогина на бегство в мнимо-эстетическое «обаяние греха».

**Ключевые слова:** Ф. М. Достоевский, «Влас», роман «Бесы», глава «У Тихона», почва, Н. К. Михайловский, воля, преступление, народ, раскаяние.

*N. K. Siundiukov*

### *“VLAS” AND “AT TIKHON”: COMPARATIVE ANALYSIS*

The article is devoted to considering the links between the essay “Vlas”, published in “Writer’s Diary” at 1873, and the chapter “At Tikhon”, which was not included in the final version of “The Demons”. As shown in the work, at the level of the plot “Vlas” duplicates the events of “At Tikhon”. The characters of Vlas and Stavrogin are presented as carriers of the idea of “the Russian people as a whole”. On this basis, the characters are compared, their actions and motives are analyzed. It is shown that in the image of Vlas two figures are emerged — the “victim” and the “tempter”; that Vlas as a type achieves salvation through the proximity of

---

\* Сяндюков Никита Кириллович, старший преподаватель, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет; Nick.syundyukov@gmail.com

\*\* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, проект «Достоевский в зарубежной рецепции: от классики до постмодерна» № 18-012-90033.

the soil and the tradition. The characteristics of the Prince, the hero of the unwritten novel "Envy", as a prototype of Stavrogin are analyzed. Based on the ideas of G. Pomerantz and E. Lapushkina the author comes to the conclusion that Stavrogin is a hostage of his own "twofold" will. Stavrogin's fear of the Other, not a familiar folk Vlas, dooms him to drop in the quasi-aesthetic of "charm of sin".

**Keywords:** F. M. Dostoevsky, "Vlas", novel "Demons", Chapter "At Tikhon", soil, N. K. Mikhailovsky, will, crime, people, repentance.

Самой известной попыткой сопоставления персонажей Достоевского — Ставрогина и Власа является работа Н. К. Михайловского «О «Бесах» Достоевского». Правда, «Влас» здесь не выступает как полноценный объект анализа, равный «Бесам». Эту роль, как обозначил «Власа» сам Достоевский, рассматривается Михайловским скорее как один из смысловых спутников «Бесов», своего рода автокомментарий писателя. «Потому ли, что идеи «Бесов» вообще сильно занимают г. Достоевского, или потому, что «Дневник писателя» пишется под непосредственным влиянием писания «Бесов», но дневник этот может быть рассматриваем как комментарий к «Бесам», — утверждает Михайловский [6, с. 64].

Тем не менее собственно богатства идейного содержания и «Бесов», и «Дневника писателя» в своем очерке Михайловский не раскрывает. Он принимает решение остановиться лишь на одной идее — идее «русского народа в его целом». Она высказана как в самой фабуле «Власа», так и в последующем ей комментарии Достоевского: «...забвение всякой мерки во всем и всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением» [1, с. 205]. И Влас, и Ставрогин (и, нужно сказать, многие прочие герои произведений Достоевского) соблазнились идеей преступления как способом проявления, согласно выражению Е. И. Ляпушкиной, «бескорыстного эпатажа». Эпатаж, в свою очередь, и оказывается страстью к «забвению всякой мерки». Так, Ставрогин намеренно не согласует свой эпатаж ни с одной из общепринятых «мерок», будь то мерка моральная, политическая или этически-светская. Его публичные действия трактуются обществом не как милые шалости, но как «необузданные поступки», совершаемые «черт знает для чего», «без всякого повода». Собственно, и в статье Михайловского действия Ставрогина подводятся под критерий «черт знает ради чего». Образ Ставрогина кажется критику «крайне тусклым» и недоработанным: если при его помощи Достоевский и хотел разгадать некую загадку русского народного характера, то вышло это у писателя скверно, неубедительно. В конечном итоге действия Власа и Ставрогина объясняются Михайловским «потребностью дерзости». Откуда же, однако, исходит эта потребность? Из забвения «народной правды», случившейся в ходе петровской реформы. Оторванных от корней своего народа «птенцов гнезда петровых» одолевают бесы. Точно те же бесы вышли на волю после крестьянской реформы 1861 г.; они же разрушают основания народной и даже личной веры в Бога. Так, в духе плоского славянофильства, трактует «Бесов» Михайловский. Впрочем, критик вполне отдает себе отчет в «дряклости» и «салонности» подобных идей и не выказывает полной уверенности в том, что именно эту линию мысли желал провести Достоевский: «...сомнения не может быть в том, что это дребедень» [6, с. 72]. Однако же глубже

этой трактовки Михайловский двигаться не решается, и дальнейший очерк сводится к стародавней полемике о «лишних людях», или, как они обозначены у Михайловского, «citoyen du monde».

Безусловно, проблема «лишних людей» занимает в «Бесах» достаточно видное место, но назвать ее магистральной темой всего романа можно, кажется, лишь с большой натяжкой. Однако именно к подобной трактовке можно прийти, если остановиться на чисто формальном прочтении этюда «Влас» и главы «У Тихона», что и делает Михайловский. «Вы сосредоточиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев!» [6, с. 82] — укоряет критик Достоевского. В предисловии к «Братьям Карамазовым» писатель даст ответ Михайловскому: «Ибо не только чудак “не всегда” частность и обособление, а напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого» [3, т. 9, с. 6]. Итак, при всей несомненности некоторых полемических выгод прочтения Михайловского, прежде всего в области утверждения идеи народничества о «невыплаченном долге», критик оказывается глухим к иным содержательным переключкам двух указанных текстов, в чем он сам и признается: «Я пишу только заметки» [6, с. 52].

Впрочем, и оставаясь на тропе «народнической» трактовки Михайловский смог угадать подчеркнуть один характерный момент, принципиально разнящий характеры Власа и Ставрогина. Если Влас решительно кается в своем грехе и ползком тащится за епитимьей и страданием, то Ставрогин, придя на разговор к Тихону, стоит еще как бы на пороге возможного раскаяния. Ему только предстоит решить свою дальнейшую судьбу, тогда как Влас ее уже решил — решил в момент видения Распятого. Да и Тихон для Ставрогина — не абсолютный нравственный авторитет, каким был старец-монах для «дерзостного мужика» Власа, но лишь ступенька — к выяснению ли, к конструированию ли — в любом случае, к продолжению истории собственной личности. И Влас в фокусе этого мотива оказывается героем куда более цельным, нежели Ставрогин. «Власа этот грех не выбивает из его жизненного седла окончательно, в конце концов, даже укрепляет в нем», — пишет Михайловский. В то время как Ставрогин «падает окончательно именно потому, что не может или не хочет принять на себя крест; вернее сказать, не может, сил не хватает, хоть его и тянет к этому» [6, с. 68].

Но действительно ли одних лишь сил не хватает Ставрогину для принятия креста? Вспомним его признание Тихону: «Я убежден, что мог бы прожить целую жизнь как монах... Я всегда господин себе, когда захочу» [3, т. 7, с. 641]. Кажется, как раз-таки сил Ставрогину хватает вполне; он с легкостью готов «хватить через край» всегда и везде, в чем отдает себе полный отчет. Это сознание власти над собственной жизнью и судьбой очень важно для Ставрогина, он усиленно подчеркивает его в своей письме, прочитанном Тихоном. Как раз-таки Ставрогину важно оставаться в седле, важно контролировать свою жизнь и свое окружение даже в самой последней эпатажной выходке. Ставрогин жаждет быть полноправным хозяином сложенных им же обстоятельств.

Далее, действительно ли таким уж цельным, укрепленным в «жизненном седле» рисуется Влас? Ведь Влас — не конкретный персонаж, но тип личности. Собственно, Достоевский в этюде представляет нам целых два Власа: Власа-жертву и Власа-искусителя. И если Влас-жертва «пошел по миру и по-

требовал страдания» то искуситель, в судьбе которого Достоевский оставляет возможность тех же религиозных поисков, что и в первом, все же вполне мог и «остаться в деревне и жить себе до сих пор, пить и зубоскалить по праздникам» [1, с. 212].

Собственно описание сюжета, стоящего в смысловом центре «Власа», занимает всего пару страниц. Остальное пространство этюда заполнено рассуждениями автора по поводу представленного «исключительного факта»: преступления и раскаяния Власа-жертвы. Достоевский обращает внимание на среду, в которой произошел сюжет «Власа»: «...удивительно всего более самое начало дела, т. е. возможность такого спора и состязания в русской деревне: “Кто кого дерзостнее сделает?”» [1, с. 205]. С самого начала своего этюда Достоевский намеренно отдаляется от той идеализации народа, в которой его обвинял Михайловский. Сохраняя безусловную веру в ту среду, из которой возник Влас, Достоевский все же не замалчивает факты нравственного упадка русской деревни. В том же «Власе» он напоминает: «Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие» [1, с. 213]. Более того, само это перечисление народных грехов Достоевский предваряет указанием на Власа — искусителя: «Что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенский... неверующий... не страдавший? ...Если уж и есть такие черты даже и в народном характере... то это уже новое откровение» [1, с. 212–213]. Достоевский опасается возникновения праздного, отвлеченного, «настоящего нигилизма» в среде народа. Да, русский мужик может кутнуть, «махнуть через край», может впасть в пьянство и разврат, может пойти на самый страшный грех из одной только своей гордости. Но лихость греха всегда сопровождалась скоростью покаяния. Куда больше разврата пугает Достоевского отстраненность, рассудочность в «народном типе» — свидетельство полного безразличия к народным святыням, доселе вызывавшим столь бурные реакции, негативные и позитивные. Впрочем, во «Власе» Достоевский все еще сомневается в этом приоткрывшемся ему «народном нигилизме», и Влас-искуситель для него остается лишь возможностью, туманным намеком.

И все же — возможностью, возможностью реальной, не иллюзорной. Своими корнями эта возможность уходит не только в политические пертурбации второй половины XIX в., но и в «психологическую часть факта», в «народный тип». Это — «потребность хватить через край... потребность отрицания всего, самой главной святыни сердца своего... Но зато с такой же силою... русский человек, равно как и весь народ, и спасет себя сам» [1, с. 205–206]. Здесь Достоевский (а вслед за ним — и Михайловский) изображает двустороннюю линию «народного типа». С одной стороны — радикальная «потребность отрицания», с другой — столь же радикальная потребность искупления грехов, потребность в спасении. И с обеих сторон русскому человеку свойственно «хватать через край», всякий свой поступок он рассматривает фаталистически (в лермонтовском понимании фатализма): как поступок последний, решающий, определяющий. Именно поэтому преступление Власа должно было случиться всех дерзостней, и точно так же должно было произойти его покаяние — ползком на коленях, обремененное страшным трудом: «чем боль-

ше, тем тут и лучше». «Сам за страданием приполз!» [1, с. 205] — добавляет еще Достоевский. И действительно, путь Власа-жертвы, протекающий меж двух крайностей — от отрицания к спасению, — сам оказывается своего рода крайностью: потребностью страдания. «Страдальческая струя... бьет ключом из самого сердца народного» [1, с. 206]. Против этой мысли Достоевского и направлено острое критики Михайловского; благодаря этой же мысли ему удается причислить самого Достоевского к группе «citoyen du monde»: «только citoyen» может прийти в голову, что народ хочет, любит страдать, и притом наклонному к эксцентрическим идеям и к обобщению патологических явлений» [6, с. 78].

И все же именно стремление к испуительному страданию, согласно художественной логике этюда, оказывается тем водоразделом, что отличает жертву от искусителя. Влас-жертва, избранный Достоевским как характернейший пример «народного типа», изначально и даже «исконно» обнаруживает в себе крайность страдания: «...жаждой страдания он [народ], кажется, заражен искони веков» [1, с. 206]. И горделивая крайность его преступления необходимо перетекает в скорость и радикальность покаяния. Переход происходит в момент мистического видения. Далее этого Влас-жертва уже не владеет собой полностью, не умеет и не может провозгласить себя совершенным «господином себе» — он пал без чувств, он полностью, без остатка отдан видению Распятого. Этот момент разительно отличает Власа-жертву от Ставрогина. Ставрогин тщится сохранить личную автономию до самого конца романа — и в некотором смысле ему это удается.

Куда более неоднозначным предстает перед читателями фигура Власа-искусителя. Повторимся, что Достоевский предполагает для него возможность точно такого же страдания, что и у Власа-жертвы: «...он [искуситель] веровал, что за то ему вечная гибель» [1, с. 209]. Но возможно, что была в искусителе только «высокомерная насмешка» да потребность «человеческого унижения», и ничего кроме. Эта возможность пугает Достоевского куда больше фатализма русского типа, и писатель всячески старается подчеркнуть ее невероятность. Этюд завершается почти надеждой, что именно Власу как типу предстоит взяться за дело Божье. Но тут же сразу Достоевский и оговаривается: «...мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность» [1, с. 213]. Судьба искусителя остается как бы на краю той самой бездны, над которой столь любит склоняться «народный тип». Он может как пуститься путем жертвы — к епитимье и раскаянию, так и остаться «пить и зубоскалить», наслаждаясь своим свидетельством «человеческого унижения». Достоевский даже называет искусителя «деревенским Мефистофелем» и уж, конечно, делает его типом куда более открытым, незавершенным, нежели фигуру жертвы. Тем самым размыкается и весь «народный тип» Власа, его историческая судьба оказывается неоднозначной: сиганет ли в бездну, останется ли на краю? Ответа нет, и это позволяет нам сблизить фигуру Власа-искусителя со Ставрогиным.

Вспомним, что и Ставрогин не был чужд искушению своих товарищей различными «дерзкими идеями». «Когда вы насаждали в моем сердце бога и родину, в то же самое время, даже может быть в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом...» [3, т. 7, с. 236], — свидетельствует Шатов. Более всего поражает Шатова непоследова-

тельность Ставрогина, его дозволение самому себе сочетать противоположные идеи и одинаково верить в их правоту. «Я вас ни того, ни другого не обманывал» [3, т. 7, с. 236], уверяет Ставрогин. Полагаем, что Ставрогину не хватало духовной «горячести» — или, проще говоря, веры — чтобы довести ту или иную дерзкую идею до победного конца. Не хватало именно веры, но не силы. Идея действия, которой требовал Михайловский, чуть только оказавшись в болезненном сознании Ставрогина, тотчас же себя и изживала, оборачиваясь лишь одной из возможностей, теорий. Ставрогину безумно важно сохранять нейтралитет между этими возможностями. Попытка встать на почву той или иной системы идей для Ставрогина равнозначна потере личностной свободы воли, иссушению его личности. Вновь — Ставрогину не хватало веры, чтобы признать за идеей необходимость действия. Но он видел эту веру, эту горячность, это здоровое отсутствие рефлексии в Шатове и отчасти в Кириллове. Скажем смелее — Ставрогин испытывает зависть к пусть болезненной, но все же целостной, добросовестной личности Шатова — личности, способной к действию. Эту догадку подтверждают наброски к характерам персонажей ненаписанного романа «Зависть», идею которого Достоевский вынашивал в 1869 г., незадолго до начала работы над «Бесами». Как отмечает Н. Ф. Буданова, «в блестящем, гордом, мстительном и завистливом Князе, не лишенном, однако, благородства и великодушия, уже проступают черты Ставрогина, а Учитель своей нравственной красотой напоминает Шатова» [3, т. 7, с. 677]. Дополним это замечание словами самого писателя: «Одним словом, между ними давно пикировка (хоть и Учителю незаметная), и в отношениях между ними дегла зависть и ненависть. В Князе же эта зависть, разумеется, из сознания своего ничтожества (а стало быть, он благороден)» (цит. по: [4]). И так, здесь нам удастся обнаружить фундаментальное качество характера Ставрогина, проявленное еще в Князе — «сознание своего ничтожества». И при этом в самом факте личностного осознания ничтожества Достоевский подчеркивает благородство. Чрезвычайно характерный момент для понимания Ставрогина, остро напоминающий ту самую дихотомию «народного типа», что вновь и вновь повторяется Достоевским на протяжении всего «Дневника писателя». Приведем еще один фрагмент, зеркально отражающий в народном типе эту деталь характера Ставрогина: «Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок» [2, с. 266].

Примечательно, что Ставрогин не удовлетворяются одним только искушением Шатова. Вот уже Шатов заразился дерзостной верой в «народ-богоносец», вот он уже и сам проповедует Ставрогину. Но одним-единственным вопросом Ставрогин разрушает все утопические проекты Шатова: «...веруете вы сами в бога или нет?» [3, т. 7, с. 241]. Шатов запинаяется, впадает в исступление. Ставрогин гениально обнажает шатовское безверие, стыд собственного безверия, его подмену Бога понятием «народа-богоносца». И при этом «ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина» [3, т. 7, с. 241]. Разоблачение дается ему легко, играючи. Подобные идейные падения кажутся Ставрогину почти обыденностью, потому что он и сам уже не раз преодолевал схожий путь. Преодолевал — и оставался ни с чем, «ни холоден, ни горяч».

Цитирование этих слов Писания — важнейший смысловой момент главы «У Тихона». Можно ли назвать Ставрогина «холодным или горячим»? Свои «выходки» Ставрогин совершает совершенно равнодушно, с «высокомерной насмешкой» — и в этом свойстве он идет по пути Власа-искусителя. «Я мог властвовать над моими воспоминания и стал к ним бесчувственен. Я отверг их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала, каждый раз как только я того хотел» [3, т. 7, с. 653], — анализирует Ставрогин свое состояние после убийства. И даже после явления образа Матрешы сам факт преступления сохраняет для Ставрогина эстетическое обаяние порока, обаяние, можно сказать, умозрительное, теоретическое. Г. С. Померанц замечает, что мотив греха у Ставрогина — это «холодный интеллектуальный эксперимент. Ставрогин совмещает в душе своей два идеала, но без всякой борьбы света с тьмой». И далее: «Он был ни холоден, ни горяч — ангел церкви Лаодикийской. Он не возненавидел свой грех, не отожился на покаяние и страдание. Но грех, разросшийся чудовищно, тоже перестал доставлять ему удовольствие» [7, с. 402]. «Был же я и на таком верху!» [1, с. 209], — как бы вторит Влас-искуситель моральному сознанию Ставрогина. Был, и заскучал: «Мне всегда было скучно припоминать прошлое» [3, т. 7, с. 653].

Один только образ Матрешы, отчаянно трясущей кулачком, Матрешы, складывающий вину не на Ставрогина, но на саму себя, — этот образ оказывается невыносим для Ставрогина, потому как он совершенно не вписывается в его устоявшуюся картину мира. Привычная для Ставрогина реакция на дерзости — это светское «черт знает что», возмущенное безразличие, именно «ни холоден, ни горяч», т. е. суетное желание не понять, но отмежеваться от творимых и творящихся безумств. Однако Матреша пожирающему все на своем пути ставрогинскому эстетическому эгоизму противопоставляет не ответный эгоизм, но интуитивное исполнение христианско-почвеннического завета, который впоследствии будет сформулирован Достоевским в персонаже старца Зосимы: «воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват».

Как верно замечает Е. И. Ляпушкина, «любое ставрогинское действие хранит в себе, в качестве скрытого потенциала, собственную противоположность — не-действие» [5, с. 230]. Здесь Е. И. Ляпушкина указывает на настойчивый комментарий Ставрогина к истории своего преступления в главе «У Тихона». Два раза, за два дня до и непосредственно перед самим преступлением, Ставрогин задается вопросом: «Могу ли бросить и уйти от замышленного намерения?» И отвечает: «Могу, могу во всякое время и в сию минуту» [3, т. 7, с. 645]. Принципиально важно Ставрогину сохранить этот индетерминизм своих действий. Ставрогин не действует слепо, согласно повелениям среды, психологического недуга или даже самих бесов. Каждое действие — тщательно отрефлексированный акт, не необходимость, но свободное проявление воли. Но если почти каждое ставрогинское действие предполагает холодность и рассудочную отстраненность от результатов действия — ведь, по признанию Ставрогина, он даже и не вспоминал о содеянном до момента видения, — то что скрывает за собой потенциал «не-действия», столь важный для структуры личности Ставрогина? Возможно ли, что за «не-действием» кроется то страстное народное (по своей природе, или сущности) желание

ко спасению, что движет Власом-жертвой? Отметим, что, несмотря на уверения Ставрогина («никого не зову в мою душу, я ни в ком не нуждаюсь, я умею сам обойтись» [3, т. 7, с. 641]), сам факт его визита к Тихону действительно знаменует собой потребность некоторой откровенности, даже исповеди, выхода за границы собственного эго. Однако обманчивую специфику этой потребности очень точно угадывает сам Тихон. Ставрогину мало тихого раскаяния в келье старца, которым удовлетворяется Влас-жертва. По своему обыкновению, само раскаяние Ставрогин хочет возвести до степени радикальной дерзости: распространить исповедь по свету и тем самым вновь оградить свою личность от влияний общественного мнения — посредством ненависти и презрения. Ставрогин станет покаявшимся великим грешником, а значит, он будет выше, значимей своей среды. Он не хочет «принять ее сожаления» потому, что это означает войти в их картину мира, стать понятным.

Понятие ставрогинского «не-действия», проанализированное Ляпушкиной, близко к образу «двойных мыслей», который всплывает в речи Мышкина и который развивает Померанц в одноименной статье. По Померанцу, «двойные мысли» есть соприсутствие в человеческой душе идеала Мадонны и идеала содомского. Причем соприсутствие этих идеалов автономно по отношению друг к другу:

«Низшее не сводится к высшему, и высшее не сводится к низшему. Ведущей может быть благородная мысль; но корыстный расчет подсаживается, как лакей на запятки». Так, Келлер завершает свою «исповедь» перед Мышкиным (в 11-й главе II части романа) признанием: «В тот самый момент, как я засыпал, искренно полный внутренних и, так сказать, внешних слез (потому что, наконец, я рыдал, я это помню!), пришла мне одна адская мысль: “А что, не занять ли у него в конце концов, после исповеди-то денег?”» (цит. по: [7, с. 175–176]).

В глубине искреннего желания раскаяния внезапно рождается очередная келлеровская шалость, новая «дерзость». Интересно, что схожее движение происходит в душе Матрешы в момент ставрогинского преступления. Только здесь это движение вывернуто наизнанку: в низшем обнаруживается высшее: «Вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение» [3, т. 7, с. 647]. Однако ни Келлер, ни Матрена здесь не субъекты, но скорее объекты «двойных мыслей». «Адская мысль» именно «пришла» к Келлеру; Матрена, когда все было конечно, в порыве стыда «закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене». Иначе говоря, «двойные мысли» были Келлеру, и Матрене нашептаны «бесами». Ставрогин же место своего преступления покидает в молчании и, кажется, в относительном спокойствии духа. Однако ведь и он верует в «личного беса». И здесь мы возвращаемся к мотиву «не-действия» в образе Ставрогина. Двоящиеся мысли Ставрогин приписывает характеру и даже некоторому сладострастию собственной воли: «Знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею моею волей по-прежнему. Но в том все и дело, что никогда не хотел того сделать» [3, т. 7, с. 655]. «Двойные мысли» в личности Ставрогина не только номинально от-

деляются от своей бесовской природы, будучи свободным волеизъявлением (номинально, ибо веру в «личного беса» Ставрогин все же сохраняет и даже горячо ее утверждает перед Тихоном), но и возводятся в закон персональной, экзистенциальной свободы посредством возможности «не-действия».

Вспомним теперь, что и Влас-жертва умел контролировать свою волю, сохраняя «чрезвычайную ясность» сознания в момент совершаемой дерзости. «Если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом видения» [1, с. 211]. Важно, во-первых, что мистическое видение оказывается, согласно мысли Достоевского, результатом максимального напряжения греховного самосознания. Во-вторых, заметим, что личный бес Власа-жертвы все же персонализирован в его искусителе. Искуситель соблазняет жертву: «Никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь» [1, с. 204]. Жертва ведома искусителем. Но все же ведома не слепо, а сознательно, с собственного согласия, ведома по гордости не только перед прочими, но и перед самою собой. Здесь даже может встать вопрос, кто более кого подталкивает ко греху, кто в ком более разжигает жажду встать перед бездной — жертва или искуситель. Так или иначе, все эти детали позволяют нам увязать Власа-жертву и Власа-искусителя в единый художественный образ, родственный «двоящемуся» образу Ставрогина.

Однако если мистическое видение является Власу-жертве ровно в момент преступления, то кризисный момент Ставрогина случается много после истории с Матреной, приходя к нему в качестве воспоминания об истории. Толчком к этому воспоминанию послужила картина Лоррена «Асис и Галатя», поразившая некогда самого Достоевского. Образ, или, вернее, идея картины является Ставрогину во сне: «Первые сцены из мифологии, земной рай... Тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные. <...>. Чудный сон, высокое заблуждение!». И здесь-то, на этой «вышине», является образ Матрешы, «именно на пороге, с своим поднятым и грозящим мне кулачком» [3, т. 7, с. 653–654]. Рождается не как автономная форма высоты, безразличная ко свету и тьме, но именно как следствие из света, из «чудного сна». Высшее не сводится к низшему, но обнаруживает в нем свою крайность. Для Ставрогина эта крайность прежде всего эстетическая, крайность «обаяния греха». Видение Ставрогина обратное видению Власа, но образная идея та же: взаимопроникновение, даже взаимная необходимость греха и раскаяния, преступления и наказания.

Наконец, еще одна деталь. Распятие, явленное Власу-жертве, кажется образом куда более цельным, ясным и собранным, нежели романтической сон о «Золотом веке» Ставрогина. Но ведь и сам Влас — не персонаж, но схематичный, эскизный образ. Влас — изображение «проснувшегося богатыря», готового «кутнуть, махнуть через край». В то же время Влас несет себе символику почвы, причастность к традиции, причем как в негативном (святотатство как крайняя дерзость), так и позитивном смысле. Даже за самим искуплением Влас «ползет по земле», максимально принижая себя до уровня почвы, или, говоря языком богословия, возвращая себя к состоянию праха, из которого и был сделан человек. Однако дерзость, совершенная Власом из крайней гордости, показалась бы Ставрогину юношеской шалостью. В этом смысле Ставрогин и его окружение куда ближе к модерну, к началу XX в., где циничная практика

«черной мессы» была возведена в обыденность. Все же в определенном смысле прав был Михайловский. Преступление и раскаяние укрепили Власа в жизненном седле, или, вернее, укрепили его на земле. Традиция, почва сохранила для Власа эту возможность, пускай исторически русский народ и двинулся в ином направлении. Отсюда, из причастности к религиозной традиции, и большая ясность власовского видения — христианский символ распятия.

Но для Ставрогина почвеннический путь обновления оказывается закрыт. Достоевский планировал повести этим путем упомянутого Князя, который в 1870 г. начинает преобразоваться в эскиз Ставрогина. «Достоевский делает попытку превратить его [князя] в “нового человека”, остро ощутившего свою оторванность от “почвы”, народа и желающего преодолеть ее путем упорного труда»; «В мужики и в раскольники хочет идти» (цит. по: [3, т. 7, с. 694–695]), — пишет сам Достоевский о Князе в рабочих записях. Писатель сохраняет в образе Ставрогине это желание приблизиться к почве, подспудно оно волнует его на протяжении всего романа. Призыв Шатова добыть бога мужицким трудом — один из тех редких случаев, когда Ставрогин не смеется над теоретизированиями своего товарища. Вновь почвенническая идея, родственная высказанной Шатову и, возможно, являющаяся ее следствием, всплывает уже в исповеди Тихону. Свою исповедь о содеянном преступлении Ставрогин жаждет распространить по миру, чтобы остались те, «которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них, и чем больше их, тем лучше» [3, т. 7, с. 655]. Но тут же Тихон обнаруживает сросшееся со Ставрогиным бесовское двоемыслие: «... что же это как не горделивый вызов от виноватого к судье?» [3, т. 7, с. 657]. Тихон обнажает невозможность искреннего сближения Ставрогина с почвой. В его покаянии сохраняются дерзость и вызов: «Вы как бы уже ненавидите вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное» [3, т. 7, с. 657]. Ставрогин не желает оставлять своей субъектности, своего диктата воли. Потому для него и немыслим почвеннический путь покаяния. Он его стыдится, т. к. покаяние предполагает мольбу о прощении у Другого, а значит, и зависимость от Другого. Даже придя к Тихону с, казалось бы, мыслью о возможной исповеди, т. е. отдачи себя во власть Другого, Ставрогин продолжает отстаивать себя и свое самоволие: «я решительно не знаю, зачем я пришел сюда», «мне ничего не нужно ни от кого выпытывать», «в вас совсем не нуждаюсь» и т. д. Эта зависимость более всего и отвращает Ставрогина от истинно христианского покаяния и смирения. Ставрогин знает, что не перенесет того, что могли бы перенести другие, «кроткие» герои Достоевского — Соня, Мышкин, Хромоножка. Эстетически не перенесет, как «стыдное, позорное, слишком уже не изящное» [3, т. 7, с. 660]. Но «Достоевский как бы не верит в подлинность, прошедшую под льняком. Именно святость сквозь позор, святость юродская выходит у Достоевского непобедимо захватывающей» [6, с. 20]. Эту же «святость сквозь позор» Достоевский подчеркивает, анализируя в начале «Власа» одноименное стихотворение Некрасова: «Хоть и по “глупости” своей ходит с котомкою Влас, но серьезность его страдания Вы все-таки поняли, все же Вас поразила величавая фигура его» [1, с. 202].

Итак, путь ко спасению Ставрогину преградила «некрасивость» почвенничества, или, еще вернее, неприятие, искажение всего истинно почвеннического

окружавшей Ставрогина средой — Некрасовыми, Верховенскими. Ставрогин испугался Другого, испугался чужого смеха как оценки и ограничения собственной личности. Он не сумел преодолеть застенчивость воли и мысли, не обнаружил в них средства для противостояния нигилистическому, интеллигентному смеху над глупой, темной, народной верой. Но в то же время в Ставрогине продолжала жить русская потребность «махнуть через край». Эта потребность трансформировала его желание к покаянию в желание публичной ненависти как единственно понимаемой Ставрогиным формы мученичества — мученичества одновременно отстраненного и зависящего от среды, от ее реакции. В этом смысле Ставрогин, конечно, оказывается сыном своего века, еще одним «типом», отражающим «исключительный факт» народной жизни. Тихон предлагает Ставрогину путь молчания, апофатки: «Отложите листки и намерение ваше — и тогда все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите!» [3, т. 7, с. 662]. Однако Ставрогин не способен рассмотреть в этом действии подвига, эстетического величия. В истинно христианском молчании и смирении Ставрогин находит лишь мелочность и страх (перед все тем же Другим), тем самым обрывая последний свой путь ко спасению.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. — СПб.: Издательство А. Ф. Маркса, 1895. — Т. 9: Дневник писателя за 1873 г. Влас.
2. Достоевский Ф. М. Сила и правда России. — М.: РИПОЛ классик, 2017.
3. Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 15 т. — Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1989–1996.
4. Загидуллина М. В. Зависть // Достоевский: Сочинения, письма, документы: Словарь-справочник / Сост. и науч. ред. Г. К. Щенников, Б. Н. Тихомиров. — СПб.: Пушкинский Дом, 2008. — С. 298–299.
5. Ляпушкина Е. И. Введение в литературную герменевтику: Теория и практика. — М.: РИПОЛ классик, Панглосс, 2019.
6. Михайловский Н. К. Литературная критика и воспоминания. — М.: Искусство, 1995.
7. Померанц Г. С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. 3-е изд., доп. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013.